



ГЛАВА 1

Все начинается с шороха, потрескивания и вспышки. Спичка шипит и оживает.

— Ну пожалуйста! — раздается у меня за спиной тихий умоляющий голосок.

— Уже поздно, Рен, — говорю я. Огонь медленно поглощает спичку, которую я по очереди подношу к трем свечам, стоящим на сундуке у окна. — Пора в постель.

Свечи зажжены, я взмахиваю спичкой, и огонек гаснет. На фоне темного стекла вьется дымок.

Ночью все кажется другим. Более определенным. За окном мир полон теней, они жмутся друг к другу, рельефные, резкие. Почему-то ночью они очерчены резче, чем днем.

Звуки ночью тоже звучат резче. Свист. Треск. Детский шепот.

— Ну еще хоть одну, — упрасивает Рен, прижимая к груди одеяло. Со вздохом отворачиваюсь от сестренки и глажу пальцами корешки книг, лежащих рядом со свечами. Кажется, я готова сдаться.

— Она была очень старой и очень юной — смотря как повернет голову. Ведь настоящего возраста ведьмы никто не знает. Ручьи вересковых пустошей были ее кровью, а трава пустошей — кожей, а улыбка у нее была ласковая и в то же время лукавая, как месяц в черной-черной ночи...

К концу рассказа Рен — тихо сопящий клубочек под одеялом, — привалившись ко мне, погружается в глубокий сон. Три свечи на сундуке еще горят, клонятся друг к другу, на дерево капает воск.

Рен боится темноты. Раньше я на всю ночь оставляла у ее постели горящую свечу, но сестренка засыпает быстро, а если и проснется, то с закрытыми глазами пробирается в комнату матери и не сбивается с пути. Так что теперь я сижу с ней рядом, пока не заснет, а потом задуваю свечи. Ни к чему попусту их трогать, да и опасно, можно дом спалить. Я тихо выбираюсь из кровати, опускаю босые ноги на старый деревянный пол.

Потянувшись к свечам, задерживаюсь взглядом на лужицах воска. На них следы пальчиков — Рен обожает рисовать, стоя на цыпочках, пока воск еще теплый. Я рассеянно касаюсь воска, и вдруг краем глаза что-то замечаю за окном, какое-то мимолетное движение. Но там ничего нет. Только ночь, темная, хотя кое-где ее пронизывают нити серебристого света, а ветер дышит в окно и тихо гудит. Старая оконная рама дрожит и стонет.

Мои пальцы поднимаются от воскового озерца к подоконнику, и я чувствую ветер за стенами дома. Он крепчает, набирает силу.

Когда я была маленькой, ветер пел мне колыбельные. То смущенно, запинаясь, то пронзительно и резко, заполняя мир вокруг меня — и даже когда вокруг, казалось бы, царили спокойствие и тишина, на самом деле все было иначе. Вот так я и росла, вместе с ветром.

Но сегодня ночью все по-другому. Словно в музыку ниточкой вплетается новый звук, более тихий и печальный, чем прежние. Наш дом стоит на северной окраине деревни Ближней, и за дребезжащим оконным стеклом раскинулась вересковая пустошь, словно кто-то развернул отрез ткани: холмы, холмы, поросшие бурьяном, усеянные камнями, да кое-где ручей. Конца-края не видно холмам, и весь мир кажется черно-белым, резким и застывшим. Среди камней и сорной травы торчат несколько чахлах деревьев, но и они странно неподвижны, даже при таком ветре. Но, могу поклясться, я видела...

И снова за окном что-то мелькнуло.

На это раз я настороже и успеваю увидеть. На краю нашего двора, на невидимой линии, отделяющей деревню от пустоши, шевельнулась какая-то тень. Она делает шаг вперед, и на нее падает лунный свет.

Щурясь, я прижимаю ладони к холодному стеклу. Эта тень — человеческая, но фигура как будто едва намечена, и ветер треплет ее, пытаясь разорвать в клочья. Лунный свет падает на перед-

нюю часть фигуры, освещает ткань и кожу, обрисовывает шею, челюсть, скулу.

В Ближней нет незнакомцев. Каждое лицо здесь я видела тысячи раз. Но только не это.

Человек просто стоит, глядя куда-то в сторону. И все же с ним *что-то* не так. Есть какая-то странность в том, как холодная сине-белая луна освещает его лицо, — мне кажется, что, ткну я в него пальцем, палец пройдет насквозь. Очертания фигуры нечеткие, она расплывается, тает в ночи, как будто двигается слишком быстро. Но дело, наверное, в неровном стекле, потому что на самом деле человек *не двигается*. Просто стоит на месте, глядя перед собой.

Свечи мерцают у меня за спиной, а на пустоши снова ветер, и кажется, что фигура незнакомца покрывается рябью, бледнеет. Я снова бросаюсь к окну, прижимаю нос к стеклу, нащупываю задвижку, чтобы распахнуть створку, заговорить, окликнуть. Он оглядывается и смотрит на дом и на окно. На меня.

Взгляд незнакомца натывается на меня, и я замираю. Глаза у него темные, как речные камни, и при этом сияют, вобрав в себя лунный свет. Они чуть заметно расширяются, встретившись с моими. Долгий, немигающий, пристальный взгляд. А потом в один миг незнакомец то ли рассыпается, то ли его уносит порывом ветра, и ставни хлопают, закрыв окно.

От стука просыпается Рен, выбирается, что-то бормоча, из-под одеяла и бредет через всю комнату, освещенную луной. Она даже не замечает,

что я до сих пор стою у окна, глядя на ставни, так резко отгородившие меня от незнакомца и пустоши. Я слышу, как сестренка шлепает по полу. Вот она открывает дверь в мамину спальню, заходит внутрь. В комнате становится совсем тихо. Я открываю окно (рама протестующе скрипит) и вновь распахиваю ставни.

Незнакомец исчез.

Мне отчего-то кажется, что в воздухе на том месте, где он стоял, должен остаться след. Но никаких следов нет. Сколько я ни таращусь, передо мной ничего — только деревья, камни, да круглые холмы.

Я всматриваюсь в пустынный пейзаж и уже сама не верю, что видела незнакомца. Что вообще кого-то видела. В конце концов, мы ведь в Ближней, где не бывает незнакомцев. Никто здесь не появлялся уже давным-давно, еще до моего рождения, до того, как был построен этот дом, еще до Совета... И тот, кого я видела, даже не был похож на настоящего человека. Я тру глаза и понимаю, что долго стою, набрав в грудь воздуха, и не дышу.

И я выдыхаю, заодно задувая свечи.



ГЛАВА 2

— **Л**екси. Свет подкрадывается, вползает под одеяло. Я натягиваю одеяло на голову, пытаюсь вернуть темноту, и понимаю, что думаю о вчерашней ночи и о фигуре в лунном свете.

— Лекси, — снова звучит мамин голос, проникая в кокон из одеяла. Он пробирается ко мне вместе с утренним светом. Ночное воспоминание тускнеет и блекнет.

Из своего гнезда я слышу шажки по половицам... Потом наступает тишина... Я лежу, затаившись, и жду — и тут на кровать с размаху плюхается маленькое тельце. Пальчики копошатся в одеяле, пытаюсь найти лазейку.

— Лекси! — это другой голос, похожий на мамин, но тоненький. — А ну-ка вставай! — Я продолжаю притворяться спящей. — Лекси?

Раскинув руки, я обхватываю сестру, обнимаю, накрыв одеялом.

— Попалась! — кричу я. Рен восторженно визжит. Вертясь и извиваясь, она выбирается из ловушки, и я отбрасываю одеяло. Темные волосы

закрывают мне лицо. Непокорные завитки рассыпаются во все стороны, сквозь них я вижу сидящую на кровати и хохочущую Рен. Она и впрямь щебечет, как птичка*. У нее волосы светлые и прямые. Они всегда ровно лежат по сторонам ее лица, спадают на плечи. Я перебираю их пальцами, стараюсь разлохматить, но Рен со смехом встряхивает головой, и волосы ложатся на место, снова безупречные и гладкие.

Это наши утренние ритуалы.

Соскочив с кровати, Рен несется на кухню. Я роюсь в сундуке с одеждой, время от времени поглядывая в окно, на утро за стеклом. Пустошь с лохматой, всклокоченной травой и лежащими там и сям валунами выглядит мягкой и безмятежной при свете дня. В это пасмурное утро передо мной совсем другой мир. Я невольно сомневаюсь — может, все, что я видела вчера, было просто сном? Может, он мне приснился?

Я касаюсь пальцами стекла, чтобы узнать, тепло ли на улице. Сейчас самый конец лета, короткое время, когда дни могут быть или приятными, теплыми, или бодряще-прохладными. Стекло холодное, и вокруг пальцев образуются небольшие запотевшие кружки. Я убираю руку.

Потом как могу распутываю волосы и собираю их в косу.

— Лекси! — снова зовет мама. Наверное, хлеб готов.

* Рен (англ. Wren) — крапивник, мелкая птица семейства воробьиных. Здесь и далее прим. переводчика.

Я надеваю простое длинное платье, туго за-тягиваю пояс. Что угодно отдала бы за брюки. Я уверена, что отец влюбился бы в маму, если бы она носила бриджи и охотничью шляпу, даже после того, как ей исполнилось шестнадцать. Шестнадцать лет, возраст замужества. Мой возраст. Я грустно усмехаюсь, глядя на пару туфельек. Они бледно-зеленые, на тонкой подошве — никакого сравнения со старыми, добротными кожаными башмаками отца.

Гляжу на свои босые ноги, которые привыкли ходить по вересковым пустошам. Много миль уже пройдено, и пустоши оставили на моих ногах отметины. Но я предпочла бы остаться здесь и разносить матушкин хлеб по деревне. Уж лучше состариться здесь и стать скрюченной каргой, как Магда и Дреска Торн, чем наряжаться в юбочки и туфельки, чтобы выскочить замуж за деревенского парня. Вздохнув, я сую ноги в туфли.

Я уже одета, но не могу избавиться от чувства, будто что-то забыла. Поворачиваюсь к маленькому деревянному столику возле моей кровати — и ахаю, увидев нож отца, на темном кожаном ремешке, с рукоятью, истертой отцовской рукой. Я люблю братья за нее, сжимать пальцами там, где сжимал ее он. Это почти как подержать его за руку. Раньше я носила нож постоянно, пока неодобрительные взгляды дяди Отто не стали слишком уж тяжелыми, но даже и сейчас я иногда беру его с собой. Сегодня я расхрабрилась: пальцы сами тянутся к ножу, ощущать его вес приятно, и на сердце становится легче. Я подпоясываюсь

ремешком, как поясом. Лезвие в ножнах на поясе — теперь я снова чувствую себя в безопасности. Одетой.

— Лекси, зайди! — зовет мама. Что за спешка, недоумеваю я, все равно утренний хлеб остынет раньше, чем попадет к покупателям. Но тут из-за стены слышится второй голос — тихий, напряженный, он сплетается с более высоким голосом матери. Отто. На кухне меня встречает запах слегка подгоревшего хлеба.

— Доброе утро, — здороваюсь я. На меня устремлены две пары глаз — одни светлые и усталые, немигающие. Другие — темные и хмурые. Дядины глаза так похожи на глаза моего отца — такие же карие, в обрамлении темных ресниц, но у отца они были живые, словно танцевали, а у Отто почти неподвижные, прячутся в морщинах, как за решеткой. Он наклоняется над своим кофе, закрывая чашку широкими плечами.

Подойдя к матери, я целую ее в щеку.

— И полгода не прошло, — буркает дядя.

В кухне появляется Рен и, пробежав мимо меня, бросается к дяде, обхватывает его ручонками. Немного смягчившись, он легонько треплет ее по волосам, и Рен убегает, только платице мелькает в дверях. Отто снова переключает внимание на меня, будто ждет ответа, объяснения.

— Что за спешка? — спрашиваю я, а мамыны глаза скользят по моей талии, по кожаному ремню у меня на платье, но она ничего не говорит, молча отворачивается к печи. Мамины ноги почти не касаются земли. Ее не назо-

вешь красавицей или даже просто симпатичной (правда, я другого мнения, но для дочери мать всегда красива), зато походка у нее волшебная — она просто летает.

У нас с ней тоже есть утренние ритуалы. Мамин поцелуй. Появление Отто на кухне, настолько частое, что можно подумать, будто он оставил здесь свою тень. Его серьезные глаза — он стремительно оглядывает меня, споткнувшись взглядом об отцовский нож.

— Ты сегодня рано, Отто, — я беру ломоть теплого хлеба и кружку.

— Надо бы пораньше, — отвечает дядя. — Вся деревня бурлит, обсуждают происшествие.

— А что стряслось-то? — спрашиваю я, наливая воду из чайника.

Мама поворачивается к нам, руки у нее в муке.

— Нам надо в деревню.

— Там появился чужак, — бросает Отто, глядя в чашку. — Бродил прошлой ночью.

Чайник у меня в руках накреняется, и я едва не обливаюсь кипятком.

— Чужак? — переспрашиваю я, перехватывая чайник покрепче. Значит, мне не приснилось! Там и правда кто-то был.

— Я хочу знать, что он здесь делает, — добавляет дядя.

— Он все еще здесь? — я безуспешно стараюсь, чтобы в голосе не слышалось переполняющее меня любопытство. Делаю плоток чая и обжигаю небо. Коротко кивнув, Отто залпом допивает

кофе. Я не успеваю удержаться, и с языка срываются вопросы.

— Откуда он появился? С ним кто-нибудь разговаривал? — выпаливаю я. — А где он сейчас?

— Довольно, Лекси, — слова Отто льдом врезаются в тепло кухни. — Это сплетни. Слишком много болтают. — Он меняется у меня на глазах, распрямляется, становится выше, превращается из моего дяди в Защитника Ближней, словно титул добавляет ему роста и веса. — Я и сам пока не знаю, кто этот незнакомец, откуда он и кто предложил ему кров, — продолжает он, — но намерен это выяснить.

Значит, кто-то предложил ему кров!.. Я прикусываю губу, чтобы скрыть улыбку. Могу поспорить, что знаю, кто прячет чужака. Но хочу узнать *почему*. Я глотаю обжигающий чай (хотя от такого кипятка болит все до самого желудка), лишь бы поскорее убежать. Я должна проверить, права ли я. А если права, хочу попасть туда раньше дяди. Отто отодвигается от стола.

— Иди, не жди меня. — Мне удастся изобразить невинную улыбку.

Отто отрывисто смеется.

— Нет, это вряд ли. Не сегодня.

У меня вытягивается лицо.

— Почему? — спрашиваю я.

Отто хмурит брови.

— Я знаю, что у тебя на уме, Лекси. Ты хочешь сама на него поохотиться. Я тебя насквозь вижу.

— Ну и что? Я — дочь своего отца.

Отто мрачно кивает.

— Это ясно как день. Иди, собирайся. Мы все пойдем в деревню.

Я поднимаю бровь.

— Разве я не готова?

Медленно Отто склоняется над столом. Его темные глаза сверлят меня, будто взглядом можно задавить, пригвоздить. Но дядин взгляд не так силен, как мой или мамин, и не может столько всего выразить. Я спокойно смотрю на Отто, дожидаясь последнего акта наших утренних ритуалов.

— Сними этот нож. Выглядишь, как дурочка.

Ничего не отвечая, я доедаю хлеб и оглядываюсь на маму.

— Я подожду вас во дворе.

Я выхожу, и кухню заполняет бас Отто.

— Ты плохо ее воспитываешь, Амелия, — грохочет он.

— Твой брат считал нужным учить ее своему ремеслу, — замечает мать, ловко упаковывая хлеб.

— Нет, Амелия, это не нужно и неправильно. Девушке, тем более ее возраста, не следует вести себя, как мальчишка. Не думай, что я не видел башмаки. Это ничем не лучше, чем бегать босиком. Она ходит в деревню на уроки? Елена Дрейк умеет шить, готовить и собирается... — Я так и вижу, что он запускает руку в свою темную шелковую рубашку, потом проводит по лицу и бороде, словно умываясь. Он всегда так делает, когда волнуется. *Неправильно. Неприлично.*

Задумавшись, я перестаю прислушиваться, а во дворе откуда ни возьмись появляется Рен.

Она и впрямь как птичка. То вспорхнет, то сядет. Хорошо еще, что она такая шумная, иначе ее внезапные появления пугали бы.

— А куда мы идем? — беззаботно щебечет она, обнимая меня.

— В деревню.

— Зачем? — Выпустив мое платье, она отодвигается, чтобы видеть мое лицо.

— Хотим тебя продать, — говорю я с серьезным видом. — А может, просто так отдадим.

Но не удерживаюсь и улыбаюсь.

Рен хмурится.

— А мне кажется, не за этим.

Я вздыхаю. Рен кажется такой беспечной, просто сгусток света и веселья, но ее не проведешь, как другого пятилетнего ребенка. Она поднимает голову, смотрит вверх, и я тоже оглядываюсь. На небе собираются тучи, плывут куда-то, как и каждый день. Странники — так их называл отец. Он говорил, что они отправляются в паломничество. Я высвобождаюсь из ручонки Рен и, отвернувшись, гляжу в другую сторону — на дом Отто и дальше, на холмы, на нашу деревню. Мне хочется поскорее оказаться там, проверить, верна ли моя догадка о незнакомце.

— Идем! — окликает нас дядя. Мама следует за ним по пятам. Отто снова пристально смотрит на мой нож, но только бурчит что-то себе под нос и выходит на дорогу. Я улыбаюсь, идя за ними.

* * *

Наша деревня имеет форму круга. Она не обнесена крепостной стеной, но все и так знают, где проходит граница. Между домами вьются каменные стены — невысокие, мне по пояс, они до половины заросли травой и бурьяном. Стены огибают теснящиеся между холмами и полями группки домов и, наконец, приводят вас в центр Ближней. Здесь дома стоят почти вплотную. Там, в центре, полно швей, плотников — тех, кому удобно работать бок о бок. Большинство обитателей деревни живут ближе к центру. Никто не горит желанием перебраться к пустошам. Только несколько домов, вроде нашего и дома сестер Торн, рассеяны по окраинам, на самой границе, где Ближняя переходит в пустошь. Говорят, на окраине селятся только охотники и ведьмы.

Вскоре показывается самая густонаселенная часть деревни. Дома теснятся друг к другу — каменные, отделанные деревом, под соломенными крышами. Те, что поновее — более светлые, а старые, изъеденные ветром, потемнели и обросли мхом и лишайником. Между ними, вокруг и вообще повсюду тянутся узкие, утопанные дорожки.

Я издали вижу, что в центре Ближней собралось много людей.

В таком маленьком местечке новости распространяются мгновенно.

Когда мы добираемся до площади, там уже собрались почти все жители, перешептываются, обмениваются слухами. Они собираются в центре, потом разбиваются на группы поменьше, еще

меньше... Словно тучи в небе, только наоборот. Отто оставляет нас — он должен найти Бо и других своих людей, отдать им какие-то распоряжения. Мама видит других матерей и устало машет им рукой. Она выпускает руку Рен, и сестренка тут же устремляется к толпе.

— Присматривай за ней, — говорит мне мама, уже не глядя на нас, и плавно скользит к женщинам.

У меня совсем другие планы, но протест, не родившись, умирает на моих губах. Моя мать не просит. Ей достаточно просто взглянуть на меня. Этот взгляд говорит: *«У меня умер муж, а его брат слишком придирчив. У меня почти нет времени для себя. Так что, если не хочешь стать еще одной обузой для своей бедной матушки, будь послушной дочкой и присмотри за сестрой»*. Все в одном взгляде. В каком-то смысле маму можно назвать властной. Я киваю и бегу за Рен, ловя на лету обрывки разговоров, сплетен, которые выются и кружатся вокруг.

Рен приводит меня к Отто и Бо, которые тихо о чем-то разговаривают. Бо худой и слегка прихрамывает, он намного моложе дяди. У него длинный нос, и, хотя каштановые кудри падают ему на лоб, по сторонам уже наметились залысины, и весь он кажется каким-то острым, угловатым.

— ...видел его возле своего дома, — говорит Бо. — Было не так уж поздно, не совсем стемнело, но уже смеркалось, так что сначала я глазам своим не поверил...